

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1991 г.: К ДЕМАРГИНАЛИЗАЦИИ ТЕРМИНА

Д.Э. Летняков
Институт философии РАН

Аннотация: В статье доказывается возможность применения концепта «революция» к событиям, связанным с перестройкой и коллапсом советской системы. Автор критически анализирует предлагаемые в существующей литературе терминологические альтернативы (переворот, контрреволюция, революция сверху и т. д.), равно как и аргументы относительно того, что распад СССР мало походил на классическую революцию. Также в тексте сделана попытка определить характер и временные рамки произошедшей антикоммунистической революции.

Ключевые слова: революция, перестройка, антикоммунизм, распад СССР, национализм, постсоветское пространство.

С момента крушения советской системы прошло уже почти три десятилетия, а между тем ни в российском академическом языке, ни в публичном дискурсе так и не утвердилось сколько-нибудь консенсусное представление о том, каким политологическим термином целесообразнее описывать перестройку и последовавшие за ней события. В литературе встречаются самые разные варианты — революция, контрреволюция, революция сверху, (демократический) переворот, заговор элит и т. д. Порой создаются даже неологизмы *ad hoc* вроде «антиреволюции» или «революции». Не удивительно, учитывая эту понятийную неопределенность, что многие авторы предпочитают использовать максимально расплывчатые формулировки вроде «распада СССР» или «краха социализма». Проблема, однако, заключается в том, что подобные выражения мало что говорят нам о социально-политическом характере произошедшего, поскольку не объясняют, *в результате чего* все-таки развалился Советский Союз.

Задача данного текста состоит в том, чтобы показать возможность применения концепта «революция» к событиям, связанным с перестройкой и распадом Советского Союза. В этой связи в статье вначале будут проанализированы факторы, которые мешают опознать коллапс советской системы в качестве полноценной революции, затем планируется критически рассмотреть предлагаемые в литературе терминологические альтернативы (переворот, контрреволюция, революция сверху и т. д.), а в конце автор сделает попытку определить характер и временные рамки произошедшей антикоммунистической революции.

Стоит сразу отметить, что в отечественной политологической литературе, конечно же, существуют примеры употребления понятия «революция» по отношению к событиям перестройки [Фурман 1994; Стародубровская, Мау 2004; Шубин 2005; Магун 2008; Пихоя 2017], но в целом эту позицию пока сложно отнести к мейнстриму в академической и экспертной среде. Поэтому основная авторская интенция состояла в том, чтобы хоть в небольшой степени способствовать демаргинализации термина «антикоммунистическая революция» в российской гуманитаристике.

Антикоммунистическая революция: аргументы против

Прежде всего, проблема использования термина «революция» вообще (и «антикоммунистическая революция» в частности) заключается в том, что он не является аксиологически нейтральным, за ним тянется длинный шлейф оценочных суждений и различных коннотаций: для кого-то революция — это «локомотив истории», орудие осуществления социального прогресса, а для кого-то — смута, покушение на законную власть и попрание устоев. Иными словами, революция принадлежит к числу понятий, которые В. Галли называл «сущностно оспариваемыми», т. е. такими, «концептуальные диспуты по поводу... [которых] носят нормативный (оценочный) характер» [Ледяев 2003: 86]. Все это чересчур политизирует данный термин, связывает его (не)использование с субъективной оценкой и идеологическими предпочтениями участников дискурса — скажем, у левых язык не повернется назвать революцией событие, закончившееся «реставрацией капитализма» на территории Восточной Европы и бывшего СССР.

Кроме того, расхожее представление о революции ассоциирует ее (пусть даже имплицитно) с чем-то грандиозным и героическим — можно вспомнить в этой связи, как в 1990-е гг. на волне уничижительного отношения ко всему советскому периоду выражение «Октябрьская революция» стало вытесняться «Октябрьским переворотом». В силу определенных обстоятельств крушение коммунизма не овеяно в России мифологией освобождения и прорыва — если в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) все-таки существует достаточно устойчивый общественный консенсус по поводу того, что 1989 г. стал датой их «возвращения в Европу», из которой они были «похищены» Советским Союзом [Кундера 1984], то в России отношение к падению коммунистического режима гораздо более сложное и противоречивое. Это также мешает закреплению понятия «революция 1991 г.» (по аналогии с «бархатными революциями») в публичном и академическом дискурсе. Тем не менее, следует признать, что политические предпочтения и эмоциональные оценки служат в данном случае не самым лучшим ориентиром. Конечно, революция всегда останется понятием, которое, как сказал Р. Козеллек, «невозможно использовать, не заняв ту или иную позицию» [Словарь основных... 2014: 726], однако в интересах научной объективности гораздо продуктивнее исходить из того, что дефиниция «революция» не обозначает автоматически что-то хорошее или что-то плохое — она, прежде всего, *указывает на определенный тип произошедших в обществе перемен.*

Здесь самое время поговорить о возможных определениях революции, а заодно обсудить следующий фактор, препятствующий оценке событий 1988–91 гг. как революционных — он состоит в том, что мы порой склонны предъявлять к понятию «революция» завышенные требования. Например, глубоко укоренилось представление о том, что настоящие революции должны обязательно выдвигать великие политические идеи и принципы, формулировать новые социальные альтернативы, полностью преобразовывать жизнь общества. Обратимся в качестве примера к известному определению С. Хантингтона, согласно которому революция — это «быстрая, фундаментальная и насильственная, произведенная внутренними силами общества смена господствующих ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, правительственной деятельности

и политики» [Хантингтон 2004: 269]. Ориентируясь на такие «максималистские» трактовки многие авторы либо рассуждают об «ущербности» революций в социалистическом лагере, либо вовсе отказываются от термина «революция» в данном контексте. Так, И.К. Пантин замечает, что если классические революции Модерна провозглашали новаторские для своего времени идеи политической свободы, социального равенства и т. д., то антикоммунистическая революция в России «была призвана [всего лишь] реализовать уже известные принципы и начала демократии, приспособить их к нашим условиям» [Пантин 2004: 139]. На интеллектуальное бесплодие «бархатных революций» обращает внимание и Б.Г. Капустин [Kapustin 2007: 26–27].

Но дело заключается в том, что как только мы начинаем применять «максималистский» подход к революции на практике, становится очевидным, что в реальности ему соответствует считанное количество исторических событий. Можем ли мы, например, считать «подлинной» Февральскую революцию в России? Ее главным итогом стало свержение самодержавия и провозглашение республики, но все это также можно назвать попыткой реализации «уже известных принципов» в российских условиях. Аналогичные проблемы возникают с Французской революцией 1830 г., с Иранской революцией 1979 г. и т. д. Более того, в релевантности «максималистских» определений революции можно усомниться даже применительно к «образцовым» революциям Модерна. Оправдано ли, ориентируясь на приведенное выше определение Хантингтона, утверждать, что в ходе большевистской революции в «доминирующих ценностях и мифах» российского общества, а также в «правительственной деятельности и политике» действительно произошли «быстрые» и «фундаментальные» изменения? Положительный ответ на этот вопрос был далеко не очевиден для целого ряда наблюдателей — Н.А. Бердяев, например, полагал, что в 1917 г. «чуда рождения новой жизни не произошло» [Бердяев 1955: 105], поскольку в большевизме воспроизвелись сущностные черты российской политической традиции. Похожего взгляда на исторические корни большевистского режима придерживался и Р. Пайс [Pipes 1994: 215–238]. А по мнению историка Д. Пинки, и Великая Французская революция «не создала новый мир или даже новую Францию», т. к. она «оставила нетронутыми» целые пласты французской жизни [Goldstone 1991: 298]. Выходит, что радикальную новизну любой революции можно оспорить, поскольку целый ряд институтов и социальных практик постреволюционной жизни часто несет на себе печать прошлого.

Таким образом, чтобы сделать концепт «революция» работающим, нам необходим все-таки менее требовательный набор критериев. Один из примеров подобного подхода можно найти у социолога Дж. Голдстоуна, который считает, что «революция — это насильственное свержение власти, осуществляемое посредством массовой мобилизации (военной, гражданской или той и другой вместе взятых) во имя социальной справедливости и создания новых политических институтов» [Голдстоун 2017: 19]. Еще более лаконичное определение предлагает В. Мау, по мнению которого, для революции характерны всего два момента — «радикальная трансформация [системы] и слом, крах государства» [Maу 2017: 294]. Вообще же в литературе предлагаются десятки различных определений революции, разбирать их здесь нет никакой возможности, но если попытаться как-то суммировать те критерии революции, которые кажутся автору наиболее значимыми, то это будет острый политический кризис, раскол в элитах, распад власти, массовое участие населения в свержении «старого порядка», обновление правящего класса в ходе произошедшей трансформации, а также достаточная глубина социальных преобразований. Последний критерий может вызвать определенные вопросы, ведь бывает не так-то просто установить ту самую «достаточную глубину», после которой исследователь имеет право говорить о произошедшей революции — как верно заметил К. Бринтон, «ученый, занимающийся социальными науками („social scientist“), не может измерить изменения с помощью точного термометра и однозначно сказать, когда обычные изменения перерастают в революционные перемены» [Jacobssohn 2014: 2]. Но, во

всяком случае, мы можем сказать, что «общество до революции [всегда] существенно отличается от общества после революции» [Мау 2017: 295].

На мой взгляд, социальная трансформация, которая привела к коллапсу советской системы, вполне подпадает под только что обозначенные критерии, но поскольку в существующей литературе накоплено достаточное количество аргументов относительно того, что события перестройки и распада СССР были мало похожи на революцию, логично было бы вкратце обозначить эти аргументы. Для удобства сведем их к четырем пунктам:

(1) Перестройка была лишь завершением тех тенденций, которые вызвали в советской системе на протяжении длительного времени (кто-то указывает здесь на эпоху «застоя», а кто-то, вслед за Л. Троцким [Троцкий 1991], начинает уже со сталинского времени). Конкретно речь обычно идет о кризисе плановой экономики, утрате массовой веры в коммунистическую идеологию и о деградации правящих элит. На последний момент обращают внимание едва ли не чаще всего — под деградацией в данном случае понимается коррумпирование партийной элиты и превращение ее в оторванный от общества «новый класс», описанный в свое время М. Джиласом [Джилас 1961]. В этой логике события перестройки нередко редуцируют к процессу конвертации власти в собственность, осуществленному номенклатурой. Об этом пишет, например, В.Б. Пастухов — по его мнению, главной целью перестройки было превращение «обуржуазившейся номенклатуры» в «номенклатурную буржуазию» [Пастухов 2012: 81], а потому это был всего лишь политический переворот, в рамках которого «власть и собственность... остались в руках того же класса..., который владел ими до переворота. Изменились лишь формы его политического господства» [Пастухов 2013]. Похожим образом рассуждает и Б.Ю. Кагарлицкий: «1989–1991 гг. были вовсе не переломным моментом, не началом нового этапа, а всего лишь кульминацией процессов, развивавшихся в течение предшествующего десятилетия» [Кагарлицкий 2005: 42–43] — помимо все того же «обуржуазивания» номенклатурной элиты политолог имеет в виду кризис советской системы в результате отказа от своевременного проведения структурных реформ, а также постепенное возвращение стран советского блока на периферию капиталистической миросистемы. Вследствие революции 1917 г. и сталинской индустриализации СССР смог создать экономическую систему, альтернативную капиталистической, однако в период застоя, по мере роста экспорта советских углеводородов на Запад, происходит обратное втягивание Советского Союза в капиталистическую мир-систему. Распад СССР привел к окончательной реинтеграции нашей страны в экономику глобального капитализма в качестве поставщика сырьевых ресурсов. Резюмируя этот пункт, можно сказать, что перестройка была не моментом революционного слома старого режима, а лишь финальным аккордом в процессе его длительного распада.

(2) Многие социально-политические и экономические преобразования во время перестройки инспирировались «сверху» и были результатом возникновения реформистского крыла внутри партийной элиты. Перестройке не предшествовали массовые народные волнения, да и само участие общества в процессе разрушения советской системы было достаточно ограниченным, настоящая же революция немыслима без мощного напора «снизу», без возникновения «народа-суверена» в терминологии М.В. Ремизова [Ремизов 2004].

(3) Этот пункт в значительной мере связан с предыдущим, сформулировать его можно следующим образом: легкость свержения «старого порядка», который пал не в результате кровавой борьбы, упорной гражданской войны и пр., а просто рассыпался вследствие собственной несостоятельности. Как заметил И.К. Пантин про августовский путч, советский строй «пал почти в одночасье, причем даже не из-за неразрешимых социально-экономических проблем или мощного натиска демократических сил. Он просто „просел“ под тяжестью накопившихся противоречий, экономических, политических, социальных, разрушился, не справившись с вызовами современности» [Пантин 2004: 34–35]. Отсюда и минимум насилия, вовсе нетипичный для такого политического феномена как революция — путч 1991 г. был

практически бескровным, последовавший затем запрет КПСС, ликвидация союзных институтов, отстранение от власти М. Горбачева и другие события осени-зимы 1991 г., которые подвели черту под существованием Советского Союза, не встретили никакого сопротивления.

(4) Крайне незначительная для революций степень обновления правящего класса — фактически переходом к демократии и рынку на постсоветском пространстве нередко руководили бывшие члены Политбюро, секретари обкомов и горкомов. Вместо антисоветской контрэлиты у кормила власти, как правило, продолжал оставаться тот же самый неосоветский политический класс.

Что же можно возразить на эти аргументы? Начну с первого из них.

Действительно, в событиях, связанных с распадом СССР, можно усмотреть прямое следствие тенденций в развитии советского общества, которые обозначились задолго до 1991 и даже 1985 гг. Но может ли это само по себе быть аргументом против революционности произошедшего? Революционная ситуация никогда не появляется вдруг, и хотя непосредственное ее начало обычно застаёт современников врасплох, революция является следствием некоторых объективных процессов, которые ее готовят в течение достаточно длительного времени. Английская революция XVII в. разве не была прямым следствием предшествовавших ей процессов — развития капитализма, усиления буржуазии, проникновения в страну кальвинистских верований? Аналогичным образом, обратившись к анализу Французской революции А. де Токвиля, можем встретить следующее рассуждение: революция 1789 г. «явилась лишь продолжением более долгой работы, внезапным и насильственным окончанием творения, над которым трудились десять поколений. Если бы она не свершилась, то старая социальная постройка все равно бы повсеместно рухнула, тут раньше, там позже... *Революция лишь резко завершила одним судорожным, болезненным усилием... то, что со временем окончилось бы мало-помалу само собой* (курсив мой — Д.Л.)» [Токвиль 2008: 29]. Говоря о тех тенденциях, которые революция завершила радикальным усилием, французский философ имел в виду отмирание старого средневекового порядка, основанного на феодализме, сословном разделении и власти аристократии. В случае СССР мы видим такой же постепенный распад сущностных элементов советской системы — от идеологии до плановой экономики; события перестройки при этом действительно стали триггером данного процесса, выведя на поверхность и обнажив те противоречия, которые существовали в системе ранее. Тут можно вспомнить еще одно наблюдение Токвиля, согласно которому революции обычно происходят не тогда, когда положение народа ухудшается донельзя, и «старый порядок» принимает совсем одиозные формы, а наоборот — в ситуации, когда власть пытается что-то изменить к лучшему: «чаще всего случается, что народ, безропотно и словно не замечая терпевший самые тягостные законы, яростно отбрасывает их, едва только бремя становится легче. Режим, разрушенный революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал, и опыт учит, что наиболее опасный момент для плохого правительства это обычно тот, когда начинаются реформы» [Там же: 157]. Как известно, в период перестройки именно попытки реформ, часто половинчатых и противоречивых, а также либерализация общественной атмосферы способствовали усилению оппозиционных настроений в СССР и привели к тому, что в какой-то момент ситуация в стране окончательно вышла из-под контроля партийного руководства.

Следующий довод касается ограниченности участия народных масс в процессах перестройки и инициирования «сверху» важнейших преобразований того времени. С одной стороны, замечание как будто бы верное — действительно, в отличие от классических революций крушению советской системы не предшествовало символическое действие народа вроде взятия Бастилии; не восставший народ на баррикадах требует гласности и реформирования плановой экономики — все эти новшества вводятся по инициативе сверху реформистской частью элиты, которой противостоят «консерваторы» из политического класса. Однако, во-первых, сам факт того, что процесс трансформации системы начался в результате раскола

элит, еще не делает антикоммунистическую революцию «ненастоящей» — такое неоднократно бывало в истории (вспомним хотя бы младотурецкую революцию 1908 г.), во-вторых, важно подчеркнуть, что события перестройки *не сводились* к столкновению группировок внутри правящего класса.

Перестройка способствовала мобилизации и политизации советского общества, выходу широких масс за пределы их привычного существования, что часто случается именно в революционные эпохи. И дело здесь не только в демонстрациях, участниками которых порой становились сотни тысяч человек, или в пробуждении низовой политической активности, в появлении уличного оппозиционного движения, в возникновении различных структур гражданского общества (от неформальных политических клубов и забастовочных комитетов до народных фронтов); не только в яростных идеологических баталиях, захлестнувших общество и приведших к появлению плеяды перестроечных публицистов, которые на время стали властителями дум миллионов людей. Принципиально важно, что *участие народных масс часто оказывало решающее влияние на происходящие в стране процессы*. Достаточно вспомнить события в Вильнюсе в январе 1991 г., когда именно массовый выход на улицу сторонников независимости Литвы помешал вернуть эту республику в сферу влияния союзного руководства. Это означало, в свою очередь, что независимость всей Прибалтики — по сути, свершившийся факт (а с Прибалтики начался распад и всего Союза). Сюда же можно отнести и августовский путч в Москве. Споры нет — путч был плохо организован во всех отношениях, однако, опять-таки, именно выход десятков тысяч людей к Белому дому лишил членов ГКЧП остатков решимости и стал ключевым фактором неудачи силового сценария развития событий (нереализованными остались планы штурма Белого дома, ареста Б. Ельцина и его окружения и т. д.). И подобных примеров довольно много.

Иными словами, внутриэлитные процессы были только одной (хотя и очень важной) составляющей тех событий, очень скоро в них стали вмешиваться иные акторы со своей собственной повесткой — политизированная интеллигенция, национальные активисты и т. д. Здесь можно привести еще один пример: когда внутри КПСС созревает решение о проведении альтернативных выборов народных депутатов, это задумывается ее реформистским крылом как инструмент борьбы со старым партийным аппаратом, однако на деле результаты выборов 1989-90 гг. оказываются неожиданными (особенно в союзных республиках) — преимущество в ряде случаев получают не реформистски настроенные коммунисты, а откровенно антикоммунистические движения, являющиеся сторонниками сессии [Рогов 2018]. Так вследствие общественной поддержки, оказанной радикальным политическим силам, ситуация выходит из-под контроля правящих элит.

Теперь что касается легкости падения советского режима в 1991 г. Все, кто наблюдали за крушением коммунизма в СССР, отмечали, что это было больше похоже на саморазрушение, на развал режима изнутри, чем на гибель в противостоянии с накатывающей революционной волной. Б.Г. Капустин, ссылаясь на Ж. Бодрийяра, формулирует это следующим образом: «коммунизм не уступил в борьбе какому-то врагу, внутреннему или внешнему, он саморазрушился, убежденный в собственном не-существовании. Это не взрыв, а имплозия» [Мау 2017: 354]. Но должно ли нас это удивлять? Давно замечено, что в ходе революции «старый порядок» нередко сдает свои позиции практически без боя, особенно если к этому моменту он пребывает в состоянии жесткого кризиса и теряет остатки легитимности. Формально в КПСС в 1991 г. состояло примерно 16,5 млн человек, однако практически никто из них не был готов бороться за коммунистические идеалы, в какой-то момент оказалось, что у режима вообще нет защитников. Национальные элиты, желающие получить как можно больше автономии от центра, остальная номенклатура, активно включившаяся в процесс первоначального накопления капитала вместе с нарождающимся классом бизнесменов, творческая интеллигенция, мечтающая о полной свободе писать, читать и говорить, широкие массы населения, уставшие от экономики дефицита, словом, все значимые социальные силы

в какой-то момент исходили из того, что от разрушения советской системы они получают гораздо больше, чем от ее сохранения. Отсюда и катастрофически низкий уровень устойчивости и сопротивляемости режима в последний период его существования. Но, как уже было сказано, полное банкротство режима, сметаемого революцией, — обычное дело. Напомню в этой связи слова В.В. Розанова, написанные поздней осенью 1917 г.: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже „Новое Время“ нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных... Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Станным образом — буквально ничего» [Розанов 2000: 6–7]. Как видим, Розанова также удивляет, как поразительно легко старая Россия ушла в небытие, они с Бодрийяром даже используют фактически те же формулировки — «растворилась», «рассыпалась». Тогда, в феврале 1917 г., у самодержавия тоже не осталось защитников — даже Русская церковь, по сути, поддержала Временное правительство, а красные революционные банты прицепили к своей одежде и отдельные члены Императорского Дома.

Наконец, последний выделенный мной контрдовод — это слабый уровень элитного обновления в ходе событий конца 1980-х – начала 1990-х гг. Во время революций, говорят сторонники этого аргумента, прежний истеблишмент всегда теряет свои позиции, происходит его замена новым политическим классом, а в большинстве государств бывшего СССР ничего подобного не наблюдалось — изменились скорее *формальные процедуры* отбора в элиту (общенародные выборы), а *качественный состав правящего класса во многом остался прежним*. Даже в тех постсоветских странах, где к власти все-таки пришли бывшие диссиденты (А. Эльчибей в Азербайджане, З. Гамсахурдия в Грузии), они быстро уступили свое место вчерашним представителям партноменклатуры. Что касается конкретно России, то по подсчетам О. Крыштановской в составе ельцинской элиты 75 % высшего руководства имело номенклатурное прошлое, в региональной элите доля бывших партийных кадров и вовсе составляла 82,3 %. Аналогичная ситуация была и в бизнес-элите — из 100 крупнейших бизнесменов России начала 1990-х гг. более 60 % имело непосредственное отношение либо к комсомолу, либо к советской банковской системе, либо к руководству советскими промышленными предприятиями [Крыштановская 2004: 343].

Что на это можно возразить? Выше уже отмечалось, что не стоит преувеличивать степень радикальности любой революции, в т. ч. это касается и такого аспекта как обновление элит. Дж. Голдстоун в одной из своих работ показывает, что события Великой Французской революции не только не привели к полному уничтожению старой родовой знати, но даже не слишком поколебали ее статусное положение — в Наполеоновской империи почти в половине французских департаментов именно дореволюционное дворянство составляло большую часть самых богатых землевладельцев, кроме того значительная доля нобилитета вошла в число местной и общегосударственной администрации. И кстати из примерно 400 000 французских дворян, проживавших в стране в 1789 г., в ходе революции было казнено или бежало из страны менее 5 % [Goldstone 1991: 296]. Похожая ситуация наблюдалась на полтора века раньше в Англии — как пишет В. Мау, после революции и казни Карла I старая аристократия в целом сохранила прежние земельные наделы, однако теперь «это была уже другая ответственность, частная, освобожденная от старинных феодальных обязательств, составляющая основу для будущего капиталистического общества» [Maу 2017: 26]. Мау проводит здесь очевидную параллель с процессами приватизации в России 1990-х гг., когда вчерашние «красные директора» превращались в полноценных собственников своих предприятий, но благодаря произошедшей революции это была уже принципиально иная форма хозяйствования.

Кроме того, когда мы говорим о слабом уровне элитной циркуляции на том основании, что многие представители постсоветской элиты имели в своей биографии такой пункт, как членство в КПСС или даже нахождение на важных партийных и административных должностях,

стях, надо учитывать, что по-другому вряд ли могло быть в стране, где численность единственной партии, сращенной с государственным аппаратом, составляла на пике почти 19 млн человек, где до перестройки просто не существовали какие-либо структуры, автономные от государства, где не было массового оппозиционного движения, подобного польской «Солидарности», которое могло бы в новых условиях стать каналом рекрутирования новых людей в элиту. Оппозиция возникает в СССР в результате внутриэлитного раскола, поэтому она состояла в основном из тех же самых членов КПСС (изредка разбавленных диссидентами вроде А. Сахарова или активистами национальных движений в республиках), но теперь уже противопоставивших себя этой структуре. При этом нужно отметить, что в ходе коллапса советской системы все-таки произошло, с одной стороны, отстранение от власти значительного числа ключевых фигур, принадлежащих прежнему правящему слою, а, с другой стороны, — вхождение в элиту совершенно новых людей. Скажем, многие люди из ельцинской команды — Е. Гайдар, А. Чубайс, С. Шахрай, Б. Немцов и др. — вовсе не занимали руководящие посты в номенклатурной иерархии до 1991 г., а некоторые члены «Демократической России» осуществили за очень короткий срок просто фантастические карьерные взлеты — таков был, например, путь А. Собчака от заведующего кафедрой ЛГУ до мэра Петербурга или Г. Попова — от главного редактора научного журнала до градоначальника Москвы. Таким образом, наличие партийного бэкграунда у многих представителей постсоветских элит скорее говорит о некоторых особенностях антикоммунистической революции, нежели вовсе отменяет это понятие по отношению к интересующим нас событиям.

Возможные альтернативы: революция сверху–контрреволюция–не-революция

Для полноты картины кажется важным также объяснить, почему автору представляются менее убедительными альтернативные подходы к обозначению событий перестройки и распада СССР. Б.Г. Капустин выделяет три таких подхода — это революция сверху, контрреволюция и вообще не революция (в последнем случае исследователи оперируют разными вариантами — от переворота до «антиреволюции») [Капустин 2007: 26–33]. Воспользуемся для удобства этой классификацией и попытаемся верифицировать предлагаемые термины.

«Революция сверху». Если проанализировать перестроечный дискурс, то ясно видно, что многие участники и очевидцы тех событий поначалу именно так и воспринимали происходящее в стране — как своеобразный антитермидор, запущенный самой партией, как продолжение революции, которая в какой-то момент (после смерти Ленина) остановилась, отошла от своих первоначальных идеалов, в т. ч. от последовательной реализации принципов социального равенства, демократии, федерализма и т. д. В этой связи характерно название юбилейного партийного доклада М.С. Горбачева в 1987 г.: «Октябрь и перестройка — революция продолжается»; участники знаменитого сборника «Иного не дано» также практически в один голос говорят о том, что страна *по инициативе партии* переживает «революционную перестройку», «возвращается к ленинскому наследию», продолжает незавершенное «дело Октября» [Иного не дано... 1988]. Кроме того в пользу «революции сверху» как будто говорит и отмеченный ранее факт, согласно которому почти все серьезные преобразования (переход к политике гласности, закон о создании кооперативов, решение о проведении альтернативных выборов) были инициированы самой правящей элитой.

И все-таки моя позиция заключается в том, что данная дефиниция здесь не подходит. Дело в том, что «революция сверху» — это процесс глубоких системных преобразований, осуществляемый правящим классом и *контролируемый им*. Классическими примерами «революций сверху» можно считать реформы Петра I («революционером на троне» называл царя еще А.И. Герцен), Александра II или Реставрацию Мейдзи в Японии [Эйдельман 1989: 176]. В «революциях сверху» нет ситуации деинституционализации режима и распада власти, типичной для обычных революций, и проявившейся так ярко в перестроечном СССР. Напро-

тив, «революция сверху» обычно осуществляется как раз достаточно сильным государством, способным консолидировать ресурсы, объединить правящий класс на поддержку своего курса, а порой и навязать этот курс обществу. А в период перестройки происходившие процессы в какой-то момент просто вышли из-под контроля тех, кто их инициировал. Какого-то продуманного долгосрочного плана реформ у Горбачева изначально не было, он действовал во многом реактивно, под влиянием сложившихся обстоятельств. Усугублявшийся кризис советской системы привел к росту оппозиционных настроений в обществе и постепенной радикализации лозунгов и программ различных политических сил — так, многие народные фронты в республиках едва ли не за год прошли путь от поддержки «социализма с человеческим лицом» до требований выхода из состава Советского Союза. Инициатива «сверху», расшевелив слишком сложный клубок проблем и противоречий, оказалась вскоре дополненной мощным движением «снизу».

Контрреволюция. Этот термин обычно используют левые авторы, которые видят в коллапсе советской системы и всего социалистического лагеря событие, открывшее дорогу «для глобальной капиталистической реставрации» [Кагарлицкий 2012: 77] и давшее «начало неолиберальной гегемонии» [Каллиникос 2005: 14] в мире. Октябрьская революция и порожденный ей режим воплощали собой альтернативу капитализму, события 1991 г. отыграли ситуацию назад, восстановив частно-собственнические отношения, следовательно произошедшее можно расценивать как контрреволюцию. С точки зрения формальной логики все как будто бы верно, но давайте при этом зададимся вопросом о том, насколько в действительности соответствовала революционным идеалам система, которую непосредственно разрушила перестройка? Система, которая к 1985 г. была уже глубоко встроена в структуру глобального капитализма через экспорт сырья в страны Запада, импорт оттуда товаров и осуществление валютных займов; система, в которой существовал значительный разрыв в уровне жизни и доступе к различным ресурсам между элитой и остальным населением; система, в которой по факту функционировал такой же отчужденный труд, как и при капитализме?

Грандиозный социальный и культурный эксперимент, затеянный в нашей стране после победы большевиков — ликвидация собственности, «обобществление быта» (дома-коммуны), резкий разрыв с национальной историей и традицией, поощрение авангардных форм в искусстве, сексуальная революция и т. д. — был фактически остановлен еще при Сталине, решившем трансформировать советский революционный проект в новый имперский. Смерть Сталина здесь ничего принципиально не изменила, даже наоборот — начиная с правления Н.С. Хрущева коммунистическая элита пытается строить советский аналог общества потребления. Конечно, это был весьма своеобразный аналог, без западного товарного изобилия, тем не менее, главным средством легитимации власти партийной элиты становится апелляция к растущему уровню жизни советских граждан; власть запускает программу массового жилищного строительства, расширяет пенсионную систему, которая изначально охватывала преимущественно городских жителей, и вместо борьбы за мировую революцию и «дивный новый мир» стремится реализовать вполне приземленные задачи — например, «догнать и перегнать» Запад по тем или иным экономическим показателям.

Начавшись как проект радикального переустройства мира, большевизм под сталинским лозунгом «построения социализма в отдельно взятой стране» превратился в итоге в очередную попытку догоняющего развития России. Разумеется, глобальное значение советского эксперимента при этом все равно сохранялось, ведь СССР предложил другим странам модель некапиталистической модернизации, основанной на «этатизации, монополизации и централизации» [Шубин 2008: 94], и само по себе наличие такой социальной альтернативы было определенным вызовом для капитализма, но к середине 1980-х гг. советский режим очевидно утратил свой революционный потенциал, коммунистическая идеология превратилась в набор ритуалов и догм, в которые уже едва ли кто-то верил всерьез (в первую очередь это касалось

и самой номенклатуры), поэтому рассуждения о контрреволюции через полвека после самотермидоризации режима кажутся мне не очень убедительными.

Наконец, рассмотрим третий подход, который был обозначен ранее как «вообще не революция». В рамках этого подхода мы, пожалуй, наиболее часто встречаемся с понятием «переворот». Однако вовлечение в политику сотен тысяч людей не позволяет охарактеризовать таким образом события, связанные с перестройкой и распадом СССР, ведь переворот всегда осуществляется кулуарно, достаточно узким кругом лиц. Кроме того, он ведет лишь к перемене отдельных персон в правящей элите, максимум — к пересмотру каких-то направлений политики страны (подобно тому как после убийства Павла I в ходе дворцового переворота Россия перестала быть союзницей Франции и вновь переориентировалась на альянс с Британией), но он не трансформирует кардинально политические институты, экономический уклад общества, не становится поворотным пунктом в истории страны. К социальным реалиям, возникшим после распада Советского Союза, можно относиться по-разному, но нельзя не признать, что они все-таки довольно сильно отличаются от того, что мы имели до 1991 г.

Теперь что касается придуманных специально для описания коллапса СССР и других просоветских режимов в ЦВЕ неологизмов вроде «революции» (Т. Гартон-Эш [Ash 1989]) или «антиреволюции» (Р. Саква [Саква 1998]). Первый указывает на своеобразный гибрид реформы и революции, в свою очередь Саква вкладывает в свой термин следующее значение: «бархатные революции» в социалистическом лагере хотели разорвать связь со всей революционной традицией Модерна, которая основывалась на вере в утопию, в прогресс, в безграничные возможности социальной инженерии. «Антиреволюции» 1989–91 гг. принципиально отказываются от самой революционной риторики, а также практики насилия, присущего всем революциям, они не выдвигают каких-либо новаторских социальных идей¹, вместо этого они сознательно являются «реставраторскими» и «подражательными», т. е. они просто стремятся воплотить в своих обществах те принципы, которые уже давно существуют по другую сторону «железного занавеса». Со многим из сказанного Саквой можно, наверное, согласиться, однако очевидная проблема всех подобных неологизмов состоит в том, что не очень понятно, как исследователю с ними работать — наука как вид деятельности все-таки предполагает возможность сравнения, обобщения и, в конечном итоге, систематизации знания, а такие концепты, придуманные *ad hoc*, делают акцент на уникальности произошедшего в 1989–91 гг. Далее, для того же Саквы термин «антиреволюция» не является базовым, скорее это просто термин-уточнение — в конечном итоге он все равно называет произошедшее в ЦВЕ революциями, но весьма странного рода — «антиреволюционными революциями». Проще говоря, трудно отделаться от ощущения, что все эти неологизмы — не более чем терминологическая игра, вряд ли помогающая серьезной аналитической работе.

Подводя итог этой части статьи, хочется еще раз обратить внимание на то, что события конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР/России вполне релевантны существующим в социальных науках представлениям о революции: в обозначенный период имели место фундаментальные изменения в самых разных сферах общественной жизни, происходившие преобразования сопровождались дисфункцией старых институтов и глубоким кризисом государства. Важнейшие события часто творились на улицах и площадях, а само общество было в высшей степени политизировано. Наверху властной пирамиды оказались многие доселе неизвестные люди. Российское общество во второй раз за XX в. прошло через ситуацию радикального отрицания своего прошлого и девальвацию старой системы норм и ценностей, что, опять же, характерно для революционных эпох. Поэтому попытки охарактеризовать коллапс СССР в каких-то иных терминах помимо полноценной революции не представляются автору удачными — все они либо чересчур идеологизированы (это формулировки типа «капиталистическая реставрация», «контрреволюция»), либо выглядят искусственно (как

¹ Согласно известному тезису Х. Арндт, «только там, где присутствует пафос новизны и где новизна сочетается с идеей свободы, мы имеем право говорить о революции» [Арндт 2011: 39].

«революция» или «антиреволюция») и слишком неконкретно (так обстоит дело, например, с тезисом Л.Е. Бляхера о том, что в 1991 г. в России произошел просто «некий переход» режима из одного состояния в другой [Бляхер 2008: 27]).

Но если это все-таки была революция, то как мы можем ее охарактеризовать, и каковы были ее временные рамки? Ответу на данный вопрос будет посвящена заключительная часть статьи.

Характер и хронология антикоммунистической революции

Активно используемое в статье понятие «антикоммунистическая революция», на мой взгляд, вполне корректно, но оно отражает, в первую очередь, негативную повестку тех событий (направленность общественного недовольства против власти партийной элиты), и является недостаточным для понимания *природы* произошедшей в СССР революции. Здесь явно требуются некоторые уточнения. Попробую их дать.

В существующей литературе имеется масса вариантов ответа на вопрос о характере антикоммунистических революций в Восточном блоке. Например, Р. Дарендорф предлагал называть их либеральными, имея в виду, что они знаменовали собой победу идеи открытого общества над обществом закрытым [Дарендорф 1998]. А. Магун напротив полагает, что перестройку целесообразнее описывать как революцию консервативную, поскольку консерватизм был и остается «гегемонной идеологией» в позднесоветском и постсоветском обществе [Магун 2010]. А. Геллер формулирует понятие «постсовременные революции». По ее мнению, принципиально важно, что, в отличие от классических революций, антикоммунистические революции свергают современный, а не досовременный режим, делая страны бывшего соцлагеря частью постмодернистского глобального порядка и заканчивая соревнование великих идеологических нарративов, которое было характерно для эпохи Модерна². Известна также характеристика «бархатных революций» как «исправляющих» (“rectifying”), данная Ю. Хабермасом — эти революции определяются так, поскольку они не хотят изобретать ничего нового, их идеология строится на возвращении своих обществ к либерально-капиталистической «нормальности», нарушенной коммунистическим экспериментом [Kumar 1992: 316]. Хотя в России, добавим от себя, конкретный образ этой чаемой «нормальности» мог довольно сильно различаться у тех или иных политических сил, ведь помимо либералов в публичном поле были также хорошо слышны голоса почвенников вроде А.И. Солженицына, делавших упор на возвращении к «корням». Приведенные тут примеры можно множить и дальше, но мне кажется, что в данном случае важнее не столько найти какую-то удачную формулировку, точно схватывающую суть антикоммунистической революции в СССР, сколько выделить составляющие ее содержание процессы. Полагаю, что таковых было, по крайней мере, три — это была одновременно революция национальная, политическая и социальная.

Национализм в период перестройки стал важнейшим «нарративом сопротивления» (формулировка Дж. Голдстоуна), на базе которого происходило объединение антикоммунистических сил. По мере кризиса и разбалансировки всей советской системы именно идея национального самоопределения (вплоть до выхода из состава Союза) становится в республиках главным оппозиционным лозунгом, который местные элиты стремятся использовать в том числе и в своих интересах — для получения большей автономии от центра. Связано это было с тем, что этнонационализм был базовым принципом организации советского государства, состоявшего из множества национальных территорий с соответствующим «титულным» населением. И если на каком-то этапе этническая и общесоветская лояльности могли вполне

² Обзор различных подходов к революциям в ЦВЕ и их критику см.: Arato 1993: 609–646.

органично сосуществовать³, то экономический и политический кризис перестройки, постепенный распад советской «вертикали власти» и всеобщее разочарование в коммунистической идеологии существенно ослабили советскую идентичность, одновременно усилив иные ориентации людей [Beissinger 2002; Suny 1993].

Революционный субъект в годы перестройки часто осмыслялся именно в национальных категориях («мы, молдаване/армяне и т. д.» против коммунистической империи), а псевдофедеративное устройство СССР с делением на 15 союзных республик становится основой для возникновения альтернативных центров власти, отказывающихся подчиняться прежнему властному центру. Кстати, согласно Ч. Тилли, это и есть чистая «революционная ситуация» — переход политической системы в состояние «множественного суверенитета» (“multiple sovereignty”), т. е. в положение, при котором монополия «властного блока» (“power block”) на осуществление власти и применение насилия на определенной территории начинает с успехом оспариваться иными акторами [Tilly 1978: 190–193]⁴.

На первый взгляд кажется, что применительно к РСФСР сложно говорить о национальной революции — все-таки эта республика воспринималась как ядро советской империи, и русские не считались там «титულным» населением, однако, во-первых, у РСФСР были собственные национальные регионы, которые также включились в борьбу за автономию от Москвы («парад суверенитетов»), во-вторых, антиимперские настроения охватили тогда и значительную часть русских — достаточно вспомнить популярность манифеста А.И. Солженицына «Как нам обустроить Россию», в котором тот призывал соотечественников осознать, что «нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч» [Солженицын 1995: 542], или же бесконечные сетования Б. Ельцина на то, что, что РСФСР кормит остальные республики. Не менее показательны и то, что на референдуме по поводу сохранения СССР в марте 1991 г. именно РСФСР (наряду с Украиной) дала наименьший среди всех республик процент голосов «за».

Апелляция республиканских элит и местной интеллигенции к национализму оказалась чрезвычайно удобной в ситуации, при которой разрушение «коммунизма» не сопровождалось выдвижением каких-либо новых идеологем и социальных альтернатив. В этих условиях идеей, которая могла бы сплотить и мобилизовать людей, стал национализм в разных его изводах. Это могли быть лозунги борьбы за «исконную» национальную территорию (как в армяно-азербайджанском конфликте вокруг Нагорного Карабаха), призывы к отделению от «советской империи» и «возвращению в Европу» (особенно популярные в Прибалтике) или к воссоединению народа, искусственно разделенного коммунистами (главный лозунг Народного фронта Молдавии тех лет — «Долой границу, разделяющую румынский народ!» [Фурман 2007: 286]). Интересно, что те факторы, которые в 1968 г. казались С. Хантингтону релевантными для революций в развивающихся странах «третьего мира» — значительная роль интеллигенции и националистической идеологии [Хантингтон 2004: 302–310] — через 20 лет сработали и во вполне модернизированном советском обществе. Так или иначе, одним из следствий коллапса коммунистической системы стало образование 15 национальных государств, подавляющая часть которых выстраивает собственную идентичность на факте обретения независимости от «советской империи». Кстати в идеологии «бархатных революций» в ЦВЕ также присутствовал национальный компонент, поскольку свержение коммунистических режимов, как правило, воспринималось там в связке с освобождением от диктата из Москвы.

³ В основе советской идентичности лежали конкретные символы, значимые для многих людей (среди них — успехи СССР в космосе, достижения советского спорта и, конечно, победа в Великой Отечественной войне), а также общие социокультурные практики, начиная от празднования Нового года или 8 марта и заканчивая просмотром культовых советских фильмов, цитаты из которых знала наизусть вся страна.

⁴ Идея о возможности применения концепции Ч. Тилли к событиям перестройки заимствована мной у Г. Дерлугьяна [Дерлугьян 2010: 233–234].

Вторым течением внутри антикоммунистической революции, как отмечалось, стала революция политическая. Она была направлена на устранение однопартийного режима во главе с КПСС, на демократизацию и либерализацию общественной жизни. Вероятно, это была наиболее романтическая составляющая революции в СССР, она же оказалась и самой провальной, поскольку успешного транзита от посттоталитаризма к стабильным демократиям на большей части бывшего СССР (за исключением стран Балтии) не получилось. Тем не менее, коллапс коммунизма все равно существенно трансформировал политическую сферу постсоветских обществ, в которых на смену однопартийным идеократиям пришли преимущественно гибридные политические режимы.

Что касается социальной революции, то она была связана с разрушением плановой экономики и переходом к рынку. Вследствие распада советской системы на пространстве бывшего СССР спустя несколько десятилетий вновь была легализована частная собственность, свободная торговля и предпринимательство, появился фондовый рынок, конвертируемая валюта и другие институты капитализма (хотя капитализма весьма своеобразного, часто называемого в англоязычной литературе “crony capitalism”, т. е. «капитализм для своих»). Параллельно начался демонтаж советского социального государства, которое в прежней реальности распределяло огромное количество благ — от бесплатного жилья до путевок в санатории. Словом, миллионы людей оказались брошены в совершенно иные социальные отношения. Тут, конечно, можно оговориться, что степень «рыночности» экономик в разных частях бывшего СССР, мягко говоря, неодинакова — даже в Центральной Азии разница в этом отношении между Кыргызстаном и Узбекистаном весьма существенна, а Беларусь все еще называют «последней нерыночной экономикой Европы» [Dabrowski 2016], но все-таки прежней командно-административной системы нет уже нигде.

Таким образом, движение от империи к национальным государствам (в данном случае автор не имеет возможности вступать в дискуссию об имперской природе СССР, речь идет о том, как это воспринималось участниками описываемых событий), демонтаж посттоталитарной идеократии и переход от системы, часто именуемой «советским социализмом», к капитализму и рынку составили реальное содержание антикоммунистической революции в СССР.

Теперь что касается ее временных рамок. В. Мау и И. Стародубровская отмечали, что российские события имели типичные для всех революций фазы развития, начиная от деинституционализации (резкого ослабления институтов государства в период, непосредственно предшествующий революции) и заканчивая термидором и постреволюционной стабилизацией, которая характеризуется восстановлением сильного государства, укреплением власти и консолидацией элит [Стародубровская, Мау 2004: 221–227]. Думается, что исходной точкой этих процессов можно назвать 1988 г. Именно тогда в СССР начинаются ключевые реформы (закон о кооперативах, решение о проведении альтернативных выборов на Съезд народных депутатов СССР и расширении прав советов); очевидным становится раскол в элите на «консервативное» и «реформистское» крыло; в прибалтийских республиках формируются народные фронты, вскоре ставшие основой для оппозиционной мобилизации населения, первая из советских республик — Эстония — принимает декларацию о своем суверенитете; в первом серьезном национальном конфликте времен перестройки, карабахском, проливается кровь (погром в Сумгаите) и начинается его стремительная эскалация; одновременно появляются явные признаки слабости режима и его существенной делегитимации в глазах населения, в т. ч. из-за нарастающих экономических трудностей. Один из показателей делегитимации власти — массовый выход из КПСС, который начинается в следующем, 1989 г. Соответственно, пиком описываемых процессов становится 1991 г. — августовский путч и развал СССР — когда ситуация «мультисуверенитета», по Ч. Тилли, оборачивается полным крахом системы.

Далее революционная волна постепенно идет на спад, и для России принципиально важным здесь является период 1993–1996 гг., когда оформились базовые элементы нового порядка — были созданы рыночные институты, в ходе приватизации произошло перераспре-

деление значительной части бывшей государственной собственности в пользу новых хозяев; кроме того расстрел парламента и принятие ельцинской Конституции сформировали основные черты постсоветской политической системы. При этом все 1990-е гг. государство продолжает оставаться достаточно слабым: Москва с трудом удерживает контроль над регионами — Чечня де-факто становится независимой, а сохранить юрисдикцию над некоторыми другими республиками удастся только ценой громадных уступок местным элитам; правительство часто не имеет возможности выполнять свои социальные обязательства (регулярные невыплаты пенсий, зарплат бюджетникам); государство в целом ряде случаев не может установить внятные правила игры и заставить экономических и политических акторов играть по ним. Наконец, с начала 2000-х гг. мы можем говорить о той самой постреволюционной стабилизации (консолидация элит, выстраивание «вертикали власти», экономический рост, обеспеченный благоприятной нефтяной конъюнктурой и пр.), которая свидетельствует о завершении революционного цикла. Его итоги, как и результаты любой другой революции, получились весьма неоднозначными для постсоветских обществ, но революция — вовсе не синоним прогресса, это всего лишь один из способов преодоления накопившихся внутри общества проблем и противоречий; способ, надо сказать, весьма затратный, влекущий за собой большое количество социальных издержек, но, к сожалению, порой неизбежный.

Арендт Х. 2011. *О революции*. — М.: Изд-во «Европа». — 456 с.

Бердяев Н.А. 1955. *Истоки и смысл русского коммунизма*. — Париж: YMCA-Press. — 160 с.

Бляхер Л. 2008. Революция как «блуждающая метафора»: семантика и прагматика революционного карнавала. — *Концепт «революция» в современном политическом дискурсе* / Под ред. Л.Е. Бляхера, Б.В. Межуева, А.В. Павлова. — СПб: Алетейя. — 360 с.

Голдстоун Дж. 2017. *Революции. Очень краткое введение*. — М.: Изд-во Института Гайдара. — 192 с.

Дарендорф Р. 1998. *После 1989. Размышления о революции в Европе*. — М.: Ad Marginem. — 271 с.

Дерлугьян Г. 2010. *Адепт Бурдые на Кавказе: эскизы к биографии в миросистемной перспективе*. — М.: Территория будущего. — 558 с.

Джилас М. 1961. *Новый класс*. — Нью-Йорк: Прегер. — 243 с.

Иного не дано... 1988. *Иного не дано*. Под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. — М.: Прогресс. — 674 с.

Кагарлицкий Б. 2012. Неуловимая правда революций — *Логос*. — № 2 (86). — С. 65–80.

Кагарлицкий Б.Ю. 2005. *Управляемая демократия*. — Екатеринбург: Ультра. Культура. — 574 с.

Каллиникос А. 2005. *Антикапиталистический манифест*. — М.: Праксис. — 178 с.

Крыштановская О. 2004. *Анатомия российской элиты*. — М.: Захаров. — 381 с.

Кундера М. 1984. Трагедия Центральной Европы. — *The National Security Archive*. — Доступно: [https://nsarchive2.gwu.edu/rus/text_files/EastUropeProblems/1985-11-12/1985-11-12%20\(170-191\).pdf](https://nsarchive2.gwu.edu/rus/text_files/EastUropeProblems/1985-11-12/1985-11-12%20(170-191).pdf). — Проверено: 21.11.2018.

Ледяев В.Г. 2003. О сущностной оспариваемости политических понятий. — *Полис. Политические исследования*. — № 2. — С. 86–95.

Магун А.В. 2008. *Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта*. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. — 416 с.

Магун А. 2010. Перестройка как консервативная революция? — *Неприкосновенный запас*. — № 6(74). — Доступно: <http://magazines.russ.ru/nz/2010/6/ma17-pr.html>. — Проверено: 21.11.2018.

Мау В.А. 2017. *Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций*. — М.: Изд-во Института Гайдара. — 368 с.

Пантин И.К. 2004. *Судьбы демократии в России*. — М.: ИФ РАН. — 194 с.

Пастухов В. 2013. Преданная революция. — *Новая газета*. — 04.01. — Доступно: <http://www.novayagazeta.ru/politics/56123.html>. — Проверено: 21.11.2018.

Пастухов В.Б. 2012. *Реставрация вместо реформации. Двадцать лет, которые потрясли Россию*. — М.: ОГИ. — 526 с.

Пихоя Р.Г. 2017. Две революции: 1917 года и 1991 года: общее и особенное. — *Великая Российская революция 1917 г.: сто лет изучения: материалы международной научной конференции (Москва, 9–11 октября 2017 г.)*. — М.: Институт российской истории. — С. 50–58.

Ремизов М. 2004. Неоколониальная революция: осмысление вызова. — *Агентство Политических Новостей*. — 29.12. — Доступно: <https://www.apn.ru/index.php?newsid=1237>. — Проверено: 21.11.2018.

Рогов К. 2018. Кризис перехода. — *Inliberty*. — 06.10. — Доступно: <https://www.inliberty.ru/magazine/issue8/>. — Проверено: 21.11.2018.

Розанов В.В. 2000. *Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени* / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. — М.: Республика. — 429 с.

Саква Р. 1998. Конец эпохи революций: антиреволюционные революции 1989–1991 годов. — *Полис. Политические исследования*. — № 5. — С. 23–28.

Словарь основных исторических понятий... 2014. *Словарь основных исторических понятий. Избранные статьи в 2-х т.* / Сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле. — М.: НЛЮ. Т. 1. — 736 с.

Солженицын А.И. 1995. Как нам обустроить Россию? — *Публицистика: в 3 т.* Т. 1. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство. — 720 с.

Стародубровская И.В., Мау В.А. 2004. *Великие революции: от Кромвеля до Путина*. — М.: Вагриус. — 510 с.

Троцкий Л.Д. 1991. *Преданная революция*. — М.: НИИ Культуры. — 254 с.

Токвиль А. 2008. *Старый порядок и революция*. — СПб.: Алетейя. — 246 с.

Фурман Д.Е. 2007. Молдавские молдаване и молдавские румыны. — *Доклады Института Европы РАН*. — № 206. — М. — С. 278–315.

Фурман Д. 1994. Революционные циклы России. Полемические заметки. — *Свободная мысль*. — № 1. — С. 5–20.

Хантингтон С. 2004. *Политический порядок в меняющихся обществах*. — М.: Прогресс-Традиция. — 480 с.

Шубин А.В. 2008. *Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975–1985 гг.* — М.: Вече. — 352 с.

Шубин А.В. 2005. *Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР*. — М.: Вече. — 477 с.

Эйдельман Н. 1989. *«Революция сверху» в России*. — М.: Книга. — 176 с.

Arato A. 1993. Interpreting 1989. — *Social Research*. — Vol. 60. — No. 3. — P. 609–646.

Ash T.G. 1989. Revolution: The Springtime of Two Nations. — *The New York Review of Books*. — 15.06. — Accessed at: <https://www.nybooks.com/articles/1989/06/15/revolution-the-springtime-of-two-nations/>. — Проверено: 21.11.2018.

Beissinger M. 2002. *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*. — Cambridge: Cambridge University Press. — 503 p.

Dabrowski M. 2016. Belarus at a crossroads. — *Bruegel.org*. — 21.01. — Accessed at: <http://bruegel.org/2016/01/belarus-at-a-crossroads/>. — Проверено: 21.11.2018.

Goldstone J.A. 1991. *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. — Berkley: University of California Press. — 600 p.

Jacobsohn G.F. 2014. Theorizing the Constitutional Revolution. — *Journal of Law and Courts*. — Vol. 2. — No. 1. — P. 1–32.

Kapustin B. 2007. Violence and Post-Communism. — *Theorising Social Change in Post-Soviet Countries: Critical Approaches* / Ed. by B. Sanghera, T. Yarkova, S. Amsler. — Oxford: Peter Lang. — P. 23–53.

Kumar K. 1992. The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism, and Democracy. — *Theory and Society*. — Vol. 21. — No. 3. — P. 309–356.

Pipes R. 1994. Did the Russian Revolution Have to Happen? — *The American Scholar*. — Vol. 63. — No. 2. — Pp. 215–238.

Suny R.G. 1993. *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*. — Stanford: Stanford University Press. — 200 p.

Tilly Ch. 1978. *From Mobilization to Revolution*. — NY: Random House. — 349 p.